

Жили-были дед да баба. Долго жили, а сколько точно — только баба и знала. Проснётся дед, сядет у порога, глядя на звёзды, а баба станет ему волосы расчёсывать. Сначала поделит на четыре времени года, а потом вместе сплетает в толстую тугую косу. Вот сколько звеньев в косе получилось, столько лет они и прожили.

Возьмёт дед заплетённую косу, поднесёт кисточку к носу и обнюхает внимательно. Нет, ни один волос пока ещё свой край не нашёл, конец не узнал. — Значит, пора дальше жить, — усмехнётся дед и загадку придумает.

Поднимется на пригорок за околицей и запоёт свою загадку. Заканчивает петь, глаза жмурит и чувствует, как солнышко из-за окоёма показалось, по зажмуренным векам его пальцами своими постукивает, тёплыми да ласковыми:

— Вот уж и я. Не могу разгадать загадку твою!

Дед тогда и загадку споёт, танцуя на пригорке с солнышком в обнимку.

Правда, бывает, что солнце встаёт обиженное, тучами прикрывает лицо хмурое:

— Совсем загадка простая сегодня, дед! Разленился ты что-то.

Дед и тут знает, что делать: поёт дразнилки, а сам к огороду топает. Солнце — за ним, тучку перед собой гоня. Вроде сердится, а само уже от смеха спрятанного подрагивает. Наконец, не выдерживает, прыскает дождиком на дедов огород. А деду того и надобно: расти, репка!

В ту пору баба слышит — рябая заклохтала-заклохтала... Спешит баба к ней за яичком, вновь снесённым. И пока дед с солнцем выплясывает да в салочки играет, идёт баба к горячему ручью, окунает туда яичко и ждёт, пока ива дюжину раз головой качнёт.

— Готово дело! — кличет баба деда.

Рассигала по траве рушник, баба чистит яичко варёное и пополам разламывает. Левую половину себе берёт, а правую — всегда деду протягивает: — Тебе пожирнее, старый, а мне уж попостнее.

Так и пообедают. А потом домой идут, прихватив с огорода немного от урожая, себе да рябой на ужин. Морковку, да редьку, да огурчик, да подсолнуха колесо.

Баба ещё всегда мышке застенной от добычи отсыпет. Дед хмурится, бурчит на бабкино

баловство, но не взаправду, а так, для порядку: ишь, мол, каких глупостей бабы навдумывают! Побурчит, поужинают, глядь — а солнышко и закатилось. Пора дедову косу расплетать.

Когда-то их дни капали один за другим. Так что могли они сидеть вечером плечом в плечо и вспоминать каждую упавшую каплю, запах её и цвет. И гадать: сколько же ещё осталось?

Теперь не то что дни — годы лились ручьём шумным, и ничего уже в этом шуме разобрать было нельзя. И не хотелось.

Как-то раз случился в их края этнограф. Очень интересовался, что за песни дед поёт каждое утро. Дело к ночи, солнце уж спряталось, пригласили нежданного гостя в избу. За стол усадили: морс да свёкла.

Достал этнограф свой диктофон, кнопку нажал полированным ногтем и слушает, вместе с диктофоном, что дед вполголоса напевает. Вполголоса — это чтобы солнышко не услышало да не проснулось раньше времени.

Баба сидит в сторонке, смотрит и диву даётся. В жизни раньше не видала прямых линий или, скажем, кругов ровных. А тут — куда ни глянь. Диктофон весь ровенький, циферблат на этнографической руке — кругленький, буквы да картинки на балахоне его потешно — словом не описать. Очки тоже интересные. Вроде бы прозрачные, но глаза сквозь них невзаправдашние: смотрят в лицо, а заглядывают в душу.

Вдруг баба спохватилась:

— Багюшки, да дело-то к утру уж повернулось, а старый не ложился! Как же он завтра солнце будить станет?

Этнограф покраснел густо, заизвинялся — да за шапку. На ночлег остаться не уговорили — ушёл в ночь. А уходя, шепнул бабе:

— Вы деда не будите. Пусть поспит. Солнце и без его песен взойдёт, вот увидите.

Баба оторопела, ничего возразить не смогла. Покачала только головой, поудивлялась чужому вранью, расплела дедову косу — да и почивать. Только сон к ней не шёл. Ворочалась, вспоминала странного человека и странные его слова. Волосы коротки, в косу не заплесть, а туда же, поучает... «А что, если и впрямь?..» — подумалось вдруг бабе, да с этой мыслью и уснула.

Проснулась от квохтания рябой. Разлепила веки и обмерла: солнце гуляло по небосводу, не дождавшись дедовой песни. Старый спал как заговорённый. Ни солнце в окне, ни рябая, ни бабкины копошения его не разбудили. Вскочила баба и, не чуя ног под собой, побежала в стайку, к рябой. Несушка сидела себе как ни в чём не бывало. А рядом с ней лежало только что снесённое яйцо. Яйцо было очень красивым, золотым. Оно матово поблёскивало в солнечных лучах и не грело рук. Баба схватила яйцо и побежала к горячему ручью. — Хоть что-то по закону сделаю! Глядишь, и уйдёт морок, — не помня себя, бормотала баба.

Прибежала к ручью, бросила в него яйцо. Бросила даже со злобой, какой раньше не знала. Пять дюжин раз качала ива головой, а баба всё не решалась яйцо вынуть. Наконец перемогла свою боязнь, вытащила яйцо из горячей воды, взяла в руки. А оно — холодное, как и было. . .

Когда баба вернулась к избе, дед сидел у порога, недоуменно перебирал незаплетённые волосы и, не мигая, смотрел прямо в солнце, которое не хотело его замечать и даже не высекло ни слезинки из глаз.

Баба, дрожа от ужаса, протянула к старому ладони с холодно поблёскивающей красотой на них. Молчала и ждала.

— Беда, баба. Коли не разбить это — рябая нового нести не станет. Потому что — зачем?

И стали они бить по яйцу. И кулаком, и топором, и молотом, и наковальней. И песни дед пел, чтобы гром позвать, и загадку для молнии выдумал. Да солнцу с тучами хоть бы что: не слушают, не помогают! Ползёт солнце по небу, с восхода на закат, и не обернётся, будто не было деда с бабой никогда.

Сели оба, пригорюнились, на яйцо проклятое смотреть бояться. Вдруг: пи-пи-пи — хвостатая. Подразжирела с бабкиных подношений, а поди ж ты — юрка! Как не видя яйца, мимо него — шнырь! Только хвостиком еле заметно дотронулась.

И как только коснулась она яичка, то закрутилось естественно сумасшедшим манером, взвилось в воздух на аршин да об камешек — хрясь с разбегу. Только искры! Было яйцо ровное да гладкое, а осталась чепуха — скорлупки золотые да камешки какие-то блескучие, что под скорлупой, видать, прятались. Рассыпались камешки по двору, сверкают красотой, пустотой да глупостью — это солнышко над ними насмехается.

Баба слезами счастливыми залилась, мышку благодарит да целует. И дед глаза промокнул рукавом, но молча сидит, насупился.

Тут рябая голос подала. И говорила она деду с бабой так:

— Не плачь, дед! Не плачь, баба! Много звенев в косе дедовой, а всё осталась у меня для вас наука. Потребуете — сей же час и обрячете. А покамест получайте от меня яйцо. Не золотое, простое.

Солнце на закат, а вы до се не обедали. Смотрите мне! Добраетесь опять!

Баба вскочила на ноги, руками замахала, запричитала:

— Да что ты, милая! Да что ты, красавица! Да разве ж мы ещё хоть когда! . .

— А ну цыц! Обе! — вдруг рявкнул дед. — Раскудахтались тут на пару, крыльями размахались, неровён час взлетите, лови вас потом. Ты вот что, баба. . . Ты скажи-ка мне, где серп наш?

— Как где? Да в сараюшке, где б ему ещё быть? — пролепетала баба, вглядываясь в дедово лицо.

— То-то же, что в сараюшке, — буркнул дед, опять глядя на солнце.

Оно и впрямь кагилось к закату. Вот-вот нырнёт за окоём, так и не взглянув на деда. Уж и покраснело. «Это оно от досады», — догадался дед. Кряхтя, поднялся на ноги и потопал в сараюшку. Отыскал серп, взял его в правую руку.левой ухватил свои незаплетённые волосы, крепко намотал их на кулак так, что кулак утёрся в самый затылок. Солнце метнуло в дверь сарая последний лучик, тихо звякнувший о серп в дедовой руке, и спряталось.

— Ну, ничего, — прошептал дед, — завтра новый день. Коль не нами заведено, то не нам и сломать.

Он занёс правую руку с серпом за затылок и мягким полукругом слева направо и снизу вверх прошёл по волосам, как баба делала, лён убирая. Упали прожитые годы на земляной пол. Стало тихо-тихо. «Отшумели», — с ласковой печалью подумалось деду.

У порога — шорох. Баба.

— Да так ли, дед? — спрашивает, головой качая.

— Так, старая, так. . . Не сомневайся.

— Ну и славно.

С этими словами баба вошла к деду в сарай, а проходя мимо срезанных волос, кинула что-то в них украдкой, как в костёр.

Мимо в тот час по своим ночным делам брела луна. Задумалась, под ноги не смотрит, как раз в ивовых ветвях и запуталась, да не вдруг выбралась, как пьяная. Оглянулась воровато: не заметил ли кто сраму? И видит: нет никого, только стоит сарай, у порога лежит себе на земляном полу небольшая копёнка — то ли льна, то ли овса. А может, дедов невод? Да может, и расплетённая коса. А поверх набросано. . . что ли светляки? Иль Божья роса? Да может, и слеза. . .

Кто ж теперь разберёт? Некому.

Илюхина свадьба

В каждой деревне есть свой дурачок, и наша — не хуже других. Наш Илюха невысок, да плотно сбит. Голова коротко стриженная, в кружок, как каторжная. Глядит всегда исподлобья, хмуро. Однако при его жизни по-другому смотреть и не станешь. Сладше пареной репы в жизни не видал ничего.

От детей ему сильно достаётся. Носятся за ним, орут, улюлюкают. Кто посмелее — пнуть норовит. Он от них убежать пытается, да где там! Прижмётся тогда спиной к забору, кулаками лицо прикроет и хнычет.

— Колька, Никитка! Вы какого рожна опять Илюху шпыняете?! Вот он сейчас кому-нибудь на одну ногу наступит, за другую дёрнет...

Дети отшатываются. Никто из них не сомневается, что Илюха может такой финт выкинуть. Силища у него необыкновенная. Этой силой и живёт. Всякая хозяйка всегда для него работу найдёт потяжелее. Работает без передыху, как заведённый. Но аккуратно, не торопясь. Сладит всё лучше любого другого местного мужика. Ну и покоряют, конечно, работника. Как божьего-то человека и не покормить? А когда его одежонка истреплется, так из своего что-нибудь отдадут. Ношеное, зато добротное. Да большего ему и не надо, убогому.

Дети, вспомнив, что Илюха при всей своей силе в жизни мухи не обидел, вздумали теперь камнями в него покидаться.

— Ну чего опять полезли? Сама сейчас хворостинной вытяну, охломоины!

Разбежались. Илюха побрёл дальше, в свою хибарку на окраине. Вдруг лицо его светлеет, появляется подобие улыбки: Марьяну увидел. Марьяна — единственный человек, который его радует. Потому что была одна история. У нас все её помнят, хоть дело и давнее. Ну и вам расскажу.

Как-то по зиме пошла Марьяна на прорубь, бельё матери отнести на полоскание. Отнесла, а только в обратный путь тронулась — в полынью угодила, снегом припорошённую. Вот шла, а вот её как и не было. Бабы у проруби заголосили, кинулись к полынье, мечутся вокруг — да что уж там! Начали мать успокаивать: мол, Бог дал, Бог взял...

Но тут Илюха случился. Подбежал к полынье, сунулся было в неё, да узковата. Он тогда заорал по-звериному и начал кулаками садить по краям, пока не разбил пошире. Полез в воду, достал. Вовремя.

Долго Марьяна болела потом, от жизни к смерти металась. Но сдюжила, хоть и мала была: шёл ей только двенадцатый годок. Когда оклемалась — уж весна на лето повернула. Вышла она на улицу и сразу отправилась Илюху искать. Нашла его у грюмо жующим краюху хлеба — обедал. Подошла и, не говоря ни слова, по щеке погладила. Илюха аж засиял весь, залопотал что-то, руку к ней протянул. Да тут она испугалась, вздрогнула и убежала домой.

Исцелению Марьяны радовались, конечно, всей деревней. А родители и вовсе головы потеряли от радости, баловать её начали безмерно. Повезли в город на ярмарку. Выбирай, мол, доченька, себе подарки, какие только пожелаются. Думали, ленточек там всяких, игрушек каких, да хоть сладостей:

пусть потешится дитя, почитай, воскресшее. Ан нет. Марьяна увидела у какого-то купца книжку: её хочу.

— Да на что она тебе, доченька? Вещь бесполезная совсем. Вон, даже ни единой картинки нет, всё только буквы-закорючки.

Но Марьяна на своём стоит. Голову наклонила, как телок упрямый, губки поджала, в глазах слёзы: — Её хочу, не нужны мне ваши ленты-пряники!

Тут отец рукой махнул. Обещались ведь подарить что захочет. Дороговат подарок вышел, но разве это дело — деньги для спасённой дочери жалеть? Буквы она знает — дьячок наш обучил. Ну, вот пусть и складывает, коли так хочется дитю ненаглядному. Сторговали, одним словом.

С того дня Марьяна с книжкой своей не расставалась. Соседские дети набежали было на диковину посмотреть. Да ничего интересного в ней не нашли: буквы и буквы. Разбежались по своим ребятишкиным делам. А Марьяна разузнала, на кого Илюха сегодня работает, отправилась перед закатом к нему.

Сидит Илюха на завалинке, огурцом хрумкает, варёную картошку жуёт. Вечеряет. Увидал Марьяну, заукал радостно, как младенец. Марьяна рядом с ним села, раскрыла книжку, уткнула в неё пальчик и давай по строчкам водить:

— В не-ки-им цар-с-тве, в не-ки-им го-су-дар-с-тве жил-был бо-га-тый ку-пец, и-ме-ни-тый че-ло-век

Илюха голову склонил, слушает, жевать и дышать забыл. Понимает ли что? Кто его знает, убогого. А только улыбается. Хорошо ему, видать, покойно. Марьянкин голос журчит, уходящее солнышко по лицу гладит ласково, тело, работой избитое, ноет немножко, но это значит — живой ещё. Как тут не зарадуешься?

— Вот ез-дит чест-ной ку-пец по чу-жим сто-ро-нам за-мор-с-ким, по ко-ро-лев-с-твам не-ви-дан-ным...

Так у них и повелось. В обед ли, к вечеру ли — приходила Марьяна к Илюхе и читала свою книжку. Сначала медленно, неумело, потом всё бойчее, бойчее. А потом уж и перестала в книжку заглядывать. Так рассказывала, по памяти. И всё с новыми подробностями. Илюха всегда слушал, не произнося ни звука, только улыбался.

— А что, — скажет Марьяна, в сотый раз рассказав свою историю. — Хорошо бы, Илюха, сесть на такой корабль да по королевствам невиданным пошастать! Хорошо бы, а?

— Ы, — кивает Илюха, — ы-ы-ы...

Посидят немного, на закат глядячи, да по домам.

А бабы наши — чего им по вечерам делать? Подсолнухи лузгать да зубоскалить, лучше и не придумаешь.

— Что, невестой твоей теперь будет Марьянка-то? Да, Илюха? — гундят, перемигиваясь.

Илюха радостно гукает, кивает башкой. Они и дальше подзуживают:

— Будем, будем свадьбу играть.

Илюха щерится в ухмылке, но в глазах мелькает тревога. А бабы продолжают:

— Только ты, Илюха, мужик незавидный. Вон, от штанов, почитай, одна мотня осталась. Нет, не пойдёт за тебя.

И ржут, кобылы жеребые. Не со зла, а так, вечер скоротать. Ухмылка сбегает с лица дурачка, он мрачнеет пуще прежнего, уходит в свою хибару.

Но на другой день, завидев Марьяну где бы то ни было, он опять улыбался и протягивал руки. Она убежала, иногда хохоча.

Только не сегодня. Сегодня она заорала, зло выпучив глаза и даже оскалив зубы:

— Ну что ты, дурачина, шатаешься за мной?! Чего тебе от меня надо? Уйди с глаз моих, чтоб не видела, стоеросина! Сгинь!—и в слезах умчалась прочь.

Илюха окаменел. Стиснул зубы до скрипа, до крошения. Сжал кулаки, повернулся и побрёл из деревни прочь. Далеко ли? Бог весть. Никто с тех пор его не видал.

А месяца через четыре, откопав картовь, играли Марьянкину свадьбу с зажиточным хозяином из соседнего уезда. Был он уже немолод, вдов, но это дело второе. По всему—крепкий был мужик, даст жизни молодой жене. Про «любит, не любит» и прочие ромашки разговора не было. Не для того мы свадьбы играем. Марьяна, понятно, невесела, но это дело поправимое. Жизнь и поправит, и стерпит, и слюбит.

Вот приехал жених невесту из отчего дома забирать. Всё честь по чести, вся деревня собралась. Ну, выкупил, как полагается, вывели красавицу. На ней лица нет, в землю смотрит, глаз не поднимает. Староста тогда, как водится, чарку полведёрную налил, добрых слов наговорил. Хорошо говорил, прослезил многих.

Вдруг зашептались в народе:

— Илюха! Илюха!

И точно, вот он, стоит посторонь, нахохлился. Волосы отросли, бородка хилая. Поистрепался, исхудал очень, но так, что силища его только пуще прежнего наружу выглянула. А в руках у него,

глянь-ко, кораблик! Небольшой, в пол-локтя, а мастеровито исполнен! И паруса, и флажки, мачточки да реечки. Как настоящее всё! Даже пушечка вон виднеется, заряжай да пали, чего там! Красота, одним словом. Ребятня так к Илюхе и слетелась воробьями, на чудо любоваться. Забыли, чертенята голожопые, как камнями в него, убогого... В глаза заглядывают, за штанину теребят:

— Дядь Илья, дай подержать! Дядь Илья, ну дай...!

А Илья как и не слышит их, смотрит пристально на то, что у крыльца сотворяется. Хмурится, мычит тихонько, понять пытается.

Тут как раз время жениху впервой невесту целовать. Сказал жених ответные добрые слова. И старосте, и родителям. Тоже хорошо сказал, горько всем стало. Ну, он к невесте повернулся, взял за плечи. И вовремя—та на ногах еле стоит, через силу держится. Потянулся к ней жених губами.

Вдруг—что за прича?! Илюха кораблик свой Никитке в руки сунул, с места срывается—и к молодым. Заорал, как тогда на польнье, по-зверину да кулачище свой на голову жениху и положил с размаху. Тот грянулся оземь без памяти, а Марьяна рядом с ним повалиться хотела от неожиданного страха. Но не успела: подхватил её на руки Илюха и понёс со двора.

Прижал к себе, как дети кукол любимых прижимают, несёт и глаз с неё не сводит. И Марьяна на него смотрит, пристально так. И слышит как там, за Илюхиной спиной, зашипели-загундели бабы. Потом заколотились мужики, заворчали, звякнули пару раз, кто вилами, кто топором, мяткнулись с придыхом и потопали им вслед, всё прибавляя шаг.

— Глупый ты, Илюха. Даром что дурак,—сказала Марьяна грустно.

А потом улыбнулась, руку протянула и погладила по щеке. Как тогда.

Взорвалось что-то тёплое в груди у Илюхи, брызнуло из глаз и весь мир вокруг высветило ласковым светом. Засмеялся он, широко и радостно захохотал, запрокинув голову. Как не смеялся никогда прежде, как теперь смеяться будет до конца жизни. И никогда уже любимой своей невесты из рук не выпустит. Пока будет жив.